

Александр Грин

Слон и Моська



Александр Грин

Слон и Моська

«Public Domain»

1906

Грин А. С.

Слон и Моська / А. С. Грин — «Public Domain», 1906

«Моська зажмурил глаза и спустил курок. На мишени показался белый четырехугольник, и в то же мгновение он почувствовал сильный удар в шею... Всякий раз, когда Моська выходил на плац, прикладывал по команде ружье к плечу, целился в мишень и, ожидая команды «пли», судорожно прижимал палец к спуску, на него нападал непобедимый страх. Моська – самый плохой солдат и стрелок роты – служил вот уже больше года, но ни свирепая дисциплина ***ского батальона, ни бесчисленные побои, наносимые ему всеми из начальства, ни «отеческие» увещевания – ничто не могло сделать из него солдата «как все»...»

Содержание

I	5
II	7
III	10
IV	15
V	18
VI	21
VII	23
VIII	26

Александр Степанович Грин

Слон и Моська

I

Моська зажмурил глаза и спустил курок. На мишени показался белый четырехугольник, и в то же мгновение он почувствовал сильный удар в шею...

Всякий раз, когда Моська выходил на плац, прикладывал по команде ружье к плечу, целился в мишень и, ожидая команды «пли», судорожно прижимал палец к спуску, на него нападал непобедимый страх. Моська – самый плохой солдат и стрелок роты – служил вот уже больше года, но ни свирепая дисциплина ***ского батальона, ни бесчисленные бои, наносимые ему всеми из начальства, ни «отеческие» увещевания – ничто не могло сделать из него солдата «как все»...

И когда наконец раздавалась команда «пли!», он весь обмирал и, зажмурив глаза, посылал пулю в пространство, где она начинала благополучно визжать, как будто совершенно не замечая мишеней, в которые Моська целился так долго, упорно и безнадежно...

Когда махальный¹ после пятого, и последнего, выстрела снова прикладывал к Моськиной мишени белый четырехугольник, а затем комически взмахивал им кверху, давая понять, что пулю можно искать где угодно, только не в мишени, Моська чувствовал, что к нему сзади подбегает фельдфебель² и с размаху бьет его в шею – раз и два! От таких ударов шапка у Моськи падала на землю, а сам он, вытянувшись и замерев в жалкой принужденной позе, смотрел вперед широко раскрытыми глазами и ничего не видел от слез, заставших все поле и эти ненавистные глупые мишени, которые как будто смеялись над ним.

Несмотря на свое ничтожество в специальном «боевом» значении, Моська играл громадную роль в жизни первой роты.

– Это господь наказывает за грехи наши, – говорил какой-нибудь офицер, проходя мимо Моськи и с ненавистью глядя на его неуклюжую, обдерганную фигуру.

«Не было печали, так черти накачали», – думали его фельдфебель, взводный и подвзводный.

– Не было бы Моськи – хоть топись, – говорили солдаты.

И действительно, не будь Мосея, или Моськи, как звали его все, роте жилось бы еще хуже. В военной среде существует неизвестно на чем основанное убеждение, что первая по счету в батальоне рота должна быть также первой в смысле служебного превосходства. Если бы так было всегда на самом деле, то можно думать, что вторая, третья, четвертая, пятая шестая роты постоянно уступают все больше и больше друг другу в служебном рвении и что шестая, например, должна явиться чуть ли не сборищем самых плохих и ленивых солдат. На деле бывает, однако, часто наоборот. Хотя в первую роту и назначают по возможности более рослых солдат, но рослость еще не служит как известно, признаком особой способности к воинской «науке». Если же прибавить к этому, что офицерство заведующее первой ротой, точно такое же, как и в остальных, ни хуже, ни лучше, то будет понятно, почему сплошь и рядом на смотрях какая-нибудь пятая или шестая рота, которой раньше как-то и незаметно было на казарменном дворе,

¹ Махальный – солдат, на обязанности которого лежит показывать красным значком, в какое место мишени попала пуля. Если стрелок даст промах – махальный машет белым значком. (Здесь и далее примечания автора.)

² Фельдфебель, взводный, подвзводный, ефрейтор, унтер, – В дореволюционной армии эти звания присваивались младшему командному составу из солдат.

вдруг получает разные «спасибо» и прочее, а первая рота при гробовом молчании генерала отправляется восвояси домой.

Моська служил в первой роте. Его рост и ширина плеч так понравились уездному воинскому начальнику что Моська был назначен в первую роту. Трудность и бессмысленность солдатской службы и жизни подействовали на него ошеломляюще. После двухнедельных испытаний, когда начальство убедилось, что в ближайшем будущем разве только сверхъестественное вмешательство может помочь Моське сделаться солдатом «как все», – он стал козлом отпущения. Его били, гоняли немилосердно, ставили «под ранец», и он молчал и безропотно переносил эти гонения, как будто сам считал себя ответственным за свою неспособность к военной службе.

Не проходило дня, чтоб Моська не повергал в уныние своего «фитьфебеля». То он повертывался не в ту сторону, куда нужно; то, вскидывая на плечо винтовку, так ударял штыком о штык соседа, что тот ронял ружье; то приходил на ученье в нечищенных сапогах, или надевал шапку без кокарды, или забывал патронташ, или свертывал шинель так, что она на ходу развертывалась и Моське надо было выходить из строя под градом ругательств, то... Но всего не пересчитаешь... Достаточно сказать, что если бы проследить шаг за шагом всю солдатскую жизнь Моськи, не нашлось бы, пожалуй, ни одного из преступлений, караемых дисциплинарными взысканиями, которых не совершал бы Моська по нескольку раз.

Вся ненависть начальства к солдату как к чему-то живому, которая обращает его в слепую, покорную машину, – сосредоточилась на Моське... Моська портит роту. Моська растлевающим образом действует на солдат, Моська глуп более, чем полагается быть глупым солдату.

Правда, было много способов отделаться от неудобного солдата... Можно было послать его в «комиссию», объявить больным и отпустить домой... Можно было перевести в другую роту... Можно было, наконец, просто прогнать Моську со службы...

Но там, где человек превращает другого человека в послушную машину, где сделаться машиной считается доблестью и где не всякий, даже при желании, может упрятать свою натуру в железные рамки дисциплины, – там таких решений быть не могло... Первая и главная обязанность начальства – из сырого деревенского материала сделать чистенькие, щеголеватые машинки, способные двигаться и стрелять по приказанию. Моська не мог сделаться такой машинкой – значит, его нужно сделать таким, закон дисциплины не должен терпеть ни исключений, ни поражений... А быть может, Моська не желал сделаться «хорошим» солдатом? Быть может, он не глуп, а умен, как змий, ловок, как кошка, меток, как Немврод,³ и храбр, как тысяча чертей, и только намеренно уклоняется от солдатской службы, разыгрывая дурака в расчете на освобождение? А если не так, если он действительно никуда не годится, – не послужит ли его освобождение причиной того, что другие нарочно станут прикидываться неумелыми? Перевести в другую роту? Но это, во-первых, значило бы признать свое бессилие. Перед кем? Каким-то Моськой... Во-вторых, это была бы уступка человеческой природе, которая на солдатской службе в расчет не принимается.

Итак, Моська служил в первой роте.

³ Немврод – древний сказочный царь, знаменитый охотник.

II

А между тем никто не мог бы положить руку на сердце сказать, что Моська глуп. И сам он, вспоминая иногда в редкие минуты отдыха все, что ему приходится выносить, вспоминая все ругательства: «Осел! Остолоп! Скотина! Дубина!» – и прочее, недоумевал; чем он уж так очень глуп? Жизнь в деревне, где он вырос и жил до солдатчины, казалась ему гораздо более сложной, требующей более толкового отношения к себе, чем здесь, и, однако, там, в деревне, никто не называл его дураком, не глумился и не ругался над ним.

И он вспоминал большое, зеленое, освещенное горячим светом солнца поле... А сам он, Моська, в посконной рубахе, босиком, мерными взмахами косы кладет ряд за рядом темно-зеленую упругую траву... Коса шуршит чуть слышно, и в каждом ее взмахе чувствуется сила и сноровка. Ни один корень, ни один камень не задержит ее. Как живая, обходит она все препятствия выстригая пригорки и ложбинки, кружась возле кустов с чуть слышным легким звоном.

А вот весна... Блестят лужи, темные, грязные, в белых рамках еще не везде растаявшего снега... Свежо, но к полудню начинает припекать. Моська ворочает дюжими, одетыми в желтые кожаные рукавицы руками большие, белые, свежееобтесанные бревна... От ловких ударов остро отточенного топора летят щепки, ряд за рядом вырастает сруб...

И вся крестьянская жизнь, полная непрестанных забот, хлопот, труда и усилия, начинает разворачиваться перед ним... Особенно любил вспоминать Моська, как зимой, вставши чуть свет и поев при огне горячих блинов, он запрягал кобылу и ехал на станцию отвозить в город пассажиров... Стужа, ветер; зипунишко то и дело пропускает холодные струйки морозного воздуха... Но Моська молод, два-три удара кнута – и тарантасик летит во весь опор, подбирая злополучного пассажира...

Если только вздох самого Моськи, вспоминающего подчас голодную, но более свободную и милую жизнь, не прерывал его размышлений, то эти размышления обыкновенно нарушал грубый окрик взводного:

– Э-эй, Моська! Что шары-то устави́л? Ступай почисть сапоги!

Моська берет сапоги и начинает их чистить. Но в блеске сапожного носка он уже опять видит блестящие струи деревенской вертлявой речки, маленького мальчишку Моську, который, задрав рубаху до плеч, упорно старается схватить руками быстрых, скользких выюнов.

Когда наступил срок и Моське надо было тянуть жребий, он не испытал особенной грусти... Напротив, когда его, голого, ощупали, как лошадь, в воинском присутствии и плотный мужчина с бакенбардами громко сказал: «Годен!» – он испытал даже некоторое удовольствие при мысли, что в его, Моськиной, жизни начинается какая-то новая полоса, совершенно отличная от прежнего времяпрепровождения. Ему, силачу и здоровяку, шутя разгибающему подкову и кулаком ломавшему кирпичи, служба казалась игрушкой – веселой, занятой и почетной. «Ну што такое ружо! – думал он. – Эка невидаль – девять фунтов!» А солдатские мундиры, в которых приезжали на побывку в деревню его земляки, приводили Моську в наивное восхищение.

«Чай, все царское», – думал он, с почтением поглядывая на соседа Гришку или Петьку, который, ухарски заломив шапку на затылок, рассыпался мелким бесом перед деревенскими красавицами.

«Ишь царь-то он, гляди, как наряжат! Мне бы эдакое!» – и смущенно вздыхал, оглядывая свою неказистую деревенскую одежку.

А теперь он сам будет такой!

Увы! Когда их, новобранцев, в количестве сто с лишним человек представили на казарменный двор – тут впервые Моська почувствовал, что как будто – «не тово»... Когда прошли первые два-три дня приемки, разбивки, выдачи разных мундиров, заплатанных и переза-

платанных штанов, галстуков, винтовок, сумок и прочей солдатской упряжки, когда впервые Моську поставили в шеренгу и сказала ему уже не как новичку, а как солдату: «Эй, ты, рыло! Подтяни брюхо! Брюхо убери!» – тогда он начал подумывать, что, конечно, трудность солдатской службы не только в том, что винтовка весит девять фунтов. На этих девяти фунтах нависла, цепляясь одно за другое, вся страшная тяжесть солдатчины, всей убийственно бессмысленной жизни для убийства... Каждый раз, как Моська становился в ряды и, весь замирая, напрягая все внимание и «поедая начальство глазами», старался не пропустить мимо ушей ни команды, ни ее смысла, – он неизбежно терялся и делал ошибку за ошибкой... И быть может, эта вечная боязнь ошибиться и недоверие к себе, воспитанное постоянными заушениями и окриками: «Осел! Олух!» – и т. п. делали то, что здоровый и неглупый по натуре парень превращался в запуганное животное, не всегда понимающее своего дрессировщика.

Пока Моська числился еще «молодым солдатом», то есть проходил первые четыре месяца службы, с него, как и с других, спрашивалось все же меньше, чем с так называемых «старых солдат». Но когда эти четыре месяца прошли, когда «молодые» приняли вторую присягу, тут Моське стало плохо. Он почти решительно ничего не знал. Когда весной перед началом стрельбы ротный командир сделал смотр своей роте, он был так поражен поведением Моськи, что вывел его из строя и произвел «экзамен» отдельно.

– Стой! – закричал он Моське, испуганному и растерявшемуся. – Я тебя научу! Смирно! Солдат застыл.

– Слуша-ай! По-ефрейторски на кра-а-ул!⁴

Моська, пропустив слова «по-ефрейторски», – взял «на краул» обыкновенным приемом, то есть подняв винтовку и прижав ее к животу.

– Отставить! – заорал взбешенный штабс-капитан⁵. – Ты что это, сволочь?! Этого не знаешь? Дубина стоеросовая!.. Фельдфебель!

– Я! – Бледный, трепещущий фельдфебель предстал перед начальством.

– Что знают мои солдаты? Что они знают, я спр-рашиваю! – кричал ротный на фельдфебеля, стоявшего навтыяжку и взявшего под козырек. – Ничего они не знают! Как тебя зовут? – обратился он к Моське.

– Мосей Сидоров Щеглов, вашбродь!

– Скажи мне, Щеглов... Гм... гм... что такое... что такое... гм... что такое знамя?

– Это... знамя – это такое... как вроде священная хоругвь⁶, как вроде...

Моська окончательно сбился и стоял, беспомощно шевеля губами. Штабс-капитан подбежал к нему, и звонкая пощечина раздалась в воздухе.

– Фельдфебель! – кричал он. – Под ранец его, собаку, на два часа!.. С кирпичом! С кирпичом!

По окончании ученья Моська надел полное боевое снаряжение: шинель, сумки, ранец, наполненный кирпичами, и с винтовкой на плече был поставлен отбыть свои два часа. Вся эта тяжесть для него, силача, не имела никакого значения, но стоять на жаре, не смея переступить с ноги на ногу, обливаясь потом, было очень мучительно. Хотелось пить, в ушах звенело, в глазах прыгали красные огненные точки...

И еще хуже стало для него жить с этого дня... Правда, «подтягиваясь» все больше и больше, он начинал выходить и на утренний осмотр, и на занятия иногда в таком же аккуратном виде, как и другие, то есть не хуже, но и тогда ему не прощалось ни малейшего пятнышка.

⁴ По-ефрейторски на караул – отдавать честь ружьем (особый воинский ружейный прием).

⁵ Штабс-капитан – офицерский чин в царской армии (между поручиком и майором).

⁶ Хоругвь – воинское знамя. Церковная священная хоругвь – большое полотнище на длинном древке с изображением Христа или святых.

Обыкновенно фельдфебель, злой на Моську за нагоняй, полученный от ротного, подходил к нему в строю и, запуская большой палец за пояс Моськи, кричал:

– Рохля! Это что?! Что это?! У тебя за ремень быка можно спрятать! Я тебе что говорил: чтобы палец туго проходил! Как в старину служили – знаешь? Обвернут пояс вокруг головы да в тую же меру брюхо подтянут – в рюмочку! О, несчастье ты мое! На голову ты мою уродился!

Следовал поток непечатной брани, и Моська уже мог быть уверенным, что сегодняшний день не пройдет ему даром. И действительно, после обеда уже обыкновенно перед фельдфебелем торчала фигура Моськи в полном боевом снаряжении, тоскливо посматривающего на товарищей, имеющих возможность с часок-другой поваляться на траве...

III

Итак, Моська получил удар в шею... Он растерянно и жалко встряхнул головой, поднял плечи, ожидая второго удара, и сейчас же почувствовал его. Этот был еще сильнее первого, и у солдата слегка захватило дух, но все же он вздохнул облегченно, зная, что фельдфебель бьет только два раза. Это не то что взводный... Тот затащит солдата в угол и долго, с наслаждением отвешивает пощечины своей жертве, пока у нее не пойдет кровь носом.

Стрельба кончилась, и солдаты стали собираться лагерь, надевая шинели и поправляя сумки... Всякой воинской части, когда она шла куда-нибудь, непременно полагалось петь в силу того соображения, что солдат всегда должен быть бодр и весел. Поэтому фельдфебель окинул роту зорким взглядом своих маленьких рысьих глаз и скомандовал:

– Ну... Эй вы, песенники!

Несколько секунд еще слышался мертвый, тяжелы топот десятков ног, и вдруг высокий, металлически тенор запевалы вывел:

Ге-нера-ал-майор, майор Алхаза
Бы-ы-ыл все вре-е-мя впе-ре-ди-и...
И тотчас же вся рота грянула вслед:
Он ко-ман-до-вал войска-ми
Са-а-ам и пушки д'заряжал...

Протяжный, заунывный напев, полный затаенно тоски и грусти, понесся, подхваченный ветерком...

Идут все полки, полки могучи
Идут весело на бой...
Как один солдат, солдат не весел
Он из дальней стороны...
– Кабы знал да знал бы я – не ездил
Я на родину свою...
Лучше б в поле, в поле помереть мне,
В чистом поле со врагом...
В чистом поле, поле со врагом
Да под ракиновым кустом...

Моська не поет – он слушает... Вот идут блестящие, красивые полки, гремит музыка, развеваются знамена... Впереди едет на коне седой генерал-майор Алхаза... Солдаты кричат «ура!» – горят желанием сразиться с таинственным, коварным врагом... И только один молодой солдатик идет, понурился голову... Не веселит его ни музыка, ни знамена... Лежит у него на сердце горе. Какое горе?.. Моська не знает, но ему смертельно жаль молодого солдата...

– Ты у меня будешь идти в ногу или нет? – вдруг гремит грозный оклик взводного, сопровождаемый площадной бранью.

И Моська, вздрогнув, торопливо переменяет ногу, опять путается, опять переменяет и, наконец, не видит перед собой ни генерала Алхаза, ни убитого горем солдатика...

– Раз-два! Раз-два!левой, правой! Ать-два!

– Ну, Моська, сколько пуль попал сегодня? – спрашивает его сосед, ярославец Быстров. – Дивлюсь я на тебя: или тебя господь глаз на стрельбу лишает? И что это с тобой такое? Право, когда смех, а когда жалость берет, на тебя глядя...

– А разве я знаю? Ты поди спроси меня, когда я и сам не знаю... Кто ее знат! Али спуску крепко нажмешь, али...

Но Моська просто стыдится сознаться в том, что он боится. Почему это так, почему он не может до сих пор освоиться с ружьем, он и сам не знает... А главное – никак не может он удержаться от того, чтобы в момент выстрела не закрыть глаз. Это выходит как-то само собой, а между тем прицел пропадает...

Но он вовсе не трус. Он помнит, как, бывало, еще в деревне случалось ходить ему на посиделки и в чужую деревню, частенько кончавшиеся жестокой свалкой. Он не боялся, напротив, было даже очень приятно драться и чувствовать свою силу... Случалось ему и на пожаре лазить в самый огонь и выскакивать с опаленными волосами и почерневшим лицом, держа в объятиях какую-нибудь телку...

Но здесь – чужое, здесь каждая мелочь тесно сплетается с другой, одна ответственность влечет за собой другую... А когда приходится стрелять в цель, Моська знает, что этому придается особо важное значение. Заранее волнуясь, он уже уверен, что даст промах, и боязнь промаха, а не выстрела заставляет его невольно закрыть глаза на мгновение... Но этого он не сознает... Так иногда человек при одном воспоминании, что он покраснел когда-то, краснеет снова...

Между тем рота подошла к палаткам, песни смолкли, и солдаты, сбросив шинели и сумки, пошли в столовую обедать.

Горячий пар валил уже из кухни, расстилаясь клубами под потолком. В дымном, насыщенном кухонными испарениями воздухе мелькали белые рубахи, желтые деревянные чашки, носился раздражающий голодного человека запах гороха и пригорелой гречневой каши. Пища бралась повзводно, одна громадная чашка – «бак» – обслуживала восемь – одиннадцать человек. Стояло настоящее столпотворение; в отворенную дверь кухни было видно, как повар с засученными рукавами взгромоздившись на край котла, длинным черпаком безостановочно поливал в подставляемые со всех сторон чашки мутный жидкий горох.

Моська в числе других усердно работал челюстями вставая каждый раз, когда нужно было зачерпнуть, ибо он сидел с краю стола. Шел довольно оживленный разговор на злободневные темы, и главным образом о распространившемся в последнее время слухе, что скоро будет назначен новый ротный командир специально для того, чтобы «подтянуть» распущенных солдат и сделать роту «образцовой». Про личность предполагаемого ротного командира ходили самые фантастические рассказы...

– Эхма! – говорил один солдат, торопливо жуя черный, как смола, хлеб. – И не сидится же ихнему брату... Вот, к слову сказать: служим мы в этом треклятом месте – кажись, какой черт здесь узнает, как служба? Хорошо ли, плохо ли идет? А поди ж ты: сичас это пуцают тилиграмм – и гляди, через месяц али два беспременно какого-нибудь хахаля пришлют... А чему – не все одно? Нашу роту как ни правь, а знай пословицу: «Горбатого могила исправит». Да и то сказать, какого нам рожна еще нужно, когда у нас вон этикие гренадеры⁷ служат! – Солдат скосил глаза на Моську и подмигнул компании. – Отдай все, да и мало! Уж наверно начальство так порешило: «А что-де, мол, у нас в первой роте офицер-то хуже Моськи? Никак, мол, этого сраму допустить невозможно... Пришел, значит, ему под пару, для кумпании...»

Взрыв хохота был ответом на выходку солдата. Ободренный успехом, тот не спеша обтер усы, заправил в рот новую ложку гороха и продолжал:

⁷ Гренадер – здесь: рослый солдат. Так называли солдат особого рода войск, вооруженных гранатами (фр. grenade), а впоследствии солдат высокого роста из отборной части войск.

– Вот придет новый-то: «А что, – скажет, – где у вас этот самый Моська-то? Я, мол, таких солдат очинно уважаю, потому я сам ему сродни, племянником довожусь... Наградить, – скажет, – Моську за храбрость и сметку по голому пузу пузырем с горохом!..»⁸

– Ха-ха-ха! – покатывались солдаты. – Ну и Козлов! Вот уж, братцы мои!..

Моське стало грустно. Он знал, что солдаты смеются над ним без всякого злого умысла, но быть постоянной мишенью для шуток и насмешек ему было обидно. Он встал, обтер ложку и сказал:

– Ну и набил же я свой барабан! Ажно расперло!

– Смотри не открой стрельбу! – сострил кто-то, но Моська не обратил на это внимание.

– Скальте, скальте зубы, ребята, – сказал он. – А вот ежели дивствительно пришлют нового-то, да протчим не в пример со строгостями еще пуще... Вот тогда не больно смеяться будешь...

– А потому же и смеемся, что опосля не до смеху будет! – сказал кто-то. – Этот, что к нам будет, новый-то, сказывают... – Солдат оглянулся и вполголоса докончил: – Новый-то, сказывают... убивец!

Со всех сторон посыпались восклицания:

– Пошел ты!

– Чего зря мелешь!

– Какой такой убивец?

– А вот убивец – поди ж ты! Я сперва и сам этому-то не ахти как верил, так, болтали как-то... А намедни мне батальонного командира повар сказывал... Он в офицерском собрании ейной жене, батальонного-то, на именины обед готовил, ну и промежду офицеров, значит, разговоры об этом самом ротном и были... А повар-то, значит, и подслушай!..

– Ну! Ну! – слышались любопытные возгласы. Рассказчик перевел дух, откусил кусок хлеба и продолжал:

– Сам-то он, ротный-то этот, из немцев... А служил он перво-наперво в западном краю, в Польше...

– Ну, жуй скорее!..

– Ну и говорит же, ребята, как нищего за нос тащит!..

– Ну... И служил он, значит, в Польше; уж в каком там полку – запомнил... А в Польше у мужиков с помещиками тяжба давнишняя идет... Из-за земли, ну вот как у нас... Ну, ждали, ждали мужики – видят, никаких пользительных манихвестов нет, а от тех манихвестов, что выходят, – одно огорчение... А теснота большая – хоть с голоду помирай... Да окромя того, тамошнее начальство совсем озверело, значит, тянет с мужиков последнюю копейку – прямо беда... Бьют, в холодную сажают... Ну, значит, терпели, терпели мужики – как ни кинь, все клин! Ни от бога, ни от начальства никакой помощи нет, а одно разорение только...

– Это мы и без тебя знаем!

– Каку новость сказал!

– А ты, брат, короче сказывай! Вишь, кашу несут!

– Н-ну... Терпели, терпели, значит, да возьми и выйди из всякого то есть терпения и повиновения... «Долго ли, говорят, мучиться будем?» Взяли да и пошли на помещиков... Земля, говорят, божья, а мы-де той земли прямые хозяева, потому кто на ней не работает, тому и владеть ей закону нет...» Н-ну... Пошли, экономии сожгли, амбары, риги, хлевы, лес – все дочиства разорили, а хлеб себе увезли – год-от был неурожайный...

– Тэ-э-эк!

– Т-э-к! Ну... выслали, значит, супротив них батальон пехоты. А в первой роте того батальона и был, значит, энто самый ротный... Приходит на село, согнали мужиков... «Так и

⁸ «Пузырем» называли в то время мешок для хранения сыпучих продуктов.

так, говорит, сказывайте, сукины дети, где хлеб?» Ну, те, известно, молчат... Тут выходит энтот ротный и подает команду: «Пли!» – стреляй то ись по крестьянам. А только ен, значит, сказал: «Пли!» – как вся рота, как один человек, взяла «к ноге!»... Увидел ен это – аж побледнел и затрясся весь... Одначе только зубами заскрипел – снова командует: «Прямо по толпе пальба ротою – рота, пли!» Хучь бы што! Стоят, молчат, ружья к ноге... И сделался тут, братцы мои, самый энтот ротный вроде как мертвец...

Все затаили дыхание... Ложки, протянутые за кашей, застыли в воздухе.

– Ударил ногой о землю и говорит: «Ежели сейчас не будет послушания, всем плохо будет!» Н-ничего!.. Отошел он на правый фланг, опять командует: «Так-то, так и так, рота, пли!» Куда тебе... Никто и не пошевелился «Ну, грит, с вами, стало быть, иначе нужно разговаривать! Налево кругом марш! В казармы!..»

Приходят в казармы... Пообедали, значит, вроде вот как мы теперь... Дело к вечеру... И приходит, братцы мои, на поверку энтот самый ротный... Пьяный-распьянный, пьянее вина... Вошел дневальный⁹ к нему с рапортом: «Ваше благородие, в первой роте такого-то батальона...» А он на него: «Пшел прочь, мерзавец, пока жив! – Кричит: – Построиться!» Построились... Вынимает он левольверт, подходит к правофланговому... Ты, грит, какое такое полное право имеешь моих приказаний слушаться? Сказывай, кто у вас в роте ичинщик и бунтовщик, а то вот тебе смерть!..» – «Не могу, грит, знать, ваше благородие!» Поставил он ему на висок левольверт – раз! – наповал... Даже не пикнул... Кровища тут побежала... Подходит к следующему. «А ну, грит, сказывай, кто у вас в роте солдат смущает?» А тот, значит, стоит белый как бумага, однако насупротив ему отвечает: «Не могу знать, ваше благородие, а только что никто нас не смущает...»

Наставил он ему левольверт к самому сердцу – раз! Повалился тот возле первого... А ротный, значит, опять курок взвел, подходит к третьему. «А ну, грит, сказывай, кто у вас в роте первый смутьян и зачинщик?»

А солдат – тот, к которому ротный подошел, видит – дело плохо: зверь стал офицер, всю роту перебьет... И говорит он ему, ротному, значит: «Я, ваше благородие, есть первый смутьян и зачинщик!» – «Врешь, грит, ты!» – «Никак нет, ваше благородие!» – «А вот, грит, как?! Когда так... Фельдфебель, взять его, мерзавца, на гауптвахту!»

Посадили солдата в карцер, мертвых похоронили... Сидит он месяц, другой и третий, и выходит ему решение суда: в ссылку, на вечное поселение в сибирские края...

Рассказчик умолк и потянулся к чашке с кашей. Наступило молчание. Кто-то громко вздохнул. Моська утер невольную слезу и перекрестился.

– Чего крестишься! Али кашу приступом взять хочешь? – засмеялся Козлов.

Но на шутку его никто не обратил внимания. Все ели некоторое время молча.

– Ну, уж, ей-богу, братцы, и дурак этот самый солдат! – заявил Моська.

– Какой солдат?

– Как дурак?

– Сам ты дурак!

– Человек, значит, себя не пощадил, а он его дураком обзывает!

– А вот и дурак... Ну уж, пришлось бы, к примеру, мне, никогда бы я на себя напраслину взводить не стал.

– Мели, Емеля: твоя неделя! Ну а что бы ты сделал?

– Што? – Моська остановился с поднятой ложкой, и лицо его осклабилось широкой улыбкой. – Ты говоришь – што?

– Ну да, што?

– Што?

⁹ Дневальство – дневное наблюдение за порядком и чистотой в помещении роты.

– Ну?

– Што?! А вот взял бы его, лешего, под микитки¹⁰, скрутил бы ему лопатки, да так бы его унавозил, что – ах ты ну!..

– Ха-ха-ха! Ну и Моська!

– Ай да Аника-воин!

– Ой, уморил!

– Ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Солдаты развеселились. Моська, неожиданно сделавшийся опять центром насмешек и прибауток, поспешил снова облизать свою ложку и вылезть из-за стола. Обед кончился. Солдаты крестились и выходили из столовой.

– Однако ты, Моська, держи язык за зубами, – заметил один солдат. – По глупости мелешь, а смотри... Всякий народ есть!..

А глядя на фигуру и комплекцию Моськи, нельзя было не согласиться с тем, что этот дюжий и неуклюжий мужик способен так «унавозить» и «разуважить», что тошно станет...

¹⁰ Взять под микитки – под ребра.

IV

Однажды в жаркий июльский полдень солдаты, только что возвратившись со стрельбы, чистили винтовки под широким дощатым навесом. Моська, по обыкновению, пустив свои пять пуль гулять по белу свету, был тут же и, навертев на шомпол паклю и тряпку, усердно протирал ствол винтовки... Пот с него катился градом, и шомпол свистал в могучих руках.

Чистка винтовок – одно из наказаний и мучений солдатской жизни. Бывали случаи, что солдат шел под суд и был наказываем розгами до полусмерти за то только, что где-нибудь на штыке его ружья находили незначительные пятна.

Моська остановился, вытащил шомпол с тряпкой, на которой уже нигде не оставалось ни малейшего следа грязи и копоти, и посмотрел в дуло на солнце, как трубку. Солнечные лучи ударили в отполированную поверхность стали и вонзились ему в глаза тысячью искр... Довольный своей работой, Моська подошел к взводному.

– Господин взводный, извольте посмотреть!

Взводный, бывший расторопный официант, слез со стола, на котором сидел, вынул руки из карманов и, небрежно посвистывая, взял у солдата ствол. Трудно было найти какие-нибудь недостатки в старательной чистке Моськи. Однако последний в роте солдат должен быть везде плох. Поэтому унтер сморщил нос и, повертев ствол в руках, подал его Моське обратно.

– Чисть еще! – процедил он сквозь зубы. – Кто ж так чистит? Ишь что раковин в ем!

Моська думал как раз наоборот, но тем не менее, глубоко вздохнув, отошел и принялся с прежним остервенением тереть и обтирать сложную механику ружья.

Едва только он приступил к смазыванию маслом своего оружия, как под навес вошел Козлов.

– Поздравляю! – сказал он, комически сдвигая шапку на бровь и опершись руками о стол. Солдаты взглянули на него и ничего не ответили.

– Поздравляю! – еще громче крикнул Козлов. – Оглохли вы, а? Слышите, поздравляю!

– Ну и поздравляй! – буркнул кто-то.

– А ты спросил, с чем?

– А мне какое дело?

– Вот те и на! Смотрите, люди добрые: приходишь к этому свинопасу вроде как будто курьера с телеграфным сообщением, а он рыло воротит! То есть сразу видно, дикий и необразованный народ!

– Ты-то уж образован!

– Я-то? А пожалуй, что так! Вы, кислая солдатская шерсть, тут что знаете?! А я по крайней мере чичас в городе был...

– Ну!

– Ну... И поздравляю!

– О, леший! – возмутился один из чистивших и в сердцах бросил даже на стол затвор, который держал в руках. – И какая же, братцы, у этого Козлова анафемская привычка: придет – нет чтобы сразу сказать, а всю душу наперво из тебя выволокнет... У, живодер! – замахнулся он притворно на хохотавшего Козлова.

– Не балуй, Козел, – сказал взводный Моськи Задвижкин. – Чего людям работать мешаешь?

– Ну, скатал валенки!

– Отдал пушку!¹¹

¹¹ Скатал валенки, отдал пушку (жарг.) – приврал, обманул, подшутил.

– Пушкарь и есть!¹²

– Черти вы полосатые! – обиделся Козлов. – Когда я сейчас от денщика нашего ротного!

А новый у него сейчас сидит, коньяк пьет за мое почтение!..

– С кем пьют, с денщиком?

– Ну! Конечно, с ротным!

– То-то!

– Сам видел, – продолжал Козлов. – Толщины, можно сказать, необъятной.

– Ты что, Козлов, вместе детей, што ль, с начальством крестишь, что так язык распустил? – строго заметил Задвижкин. – Смотри!

Мелкое начальство побаивалось Козлова. Еще в бытность новобранцем он во всеуслышание заявил, что всадит штык всякому, кто осмелится его ударить. И, зная его вспыльчивый характер, этому верить было можно. Поэтому там, где другой попал бы в карцер или на дежурство не в очередь, Козлов отделялся только окриками и замечаниями.

– Никак господин взводный, – отчеканил Козлов. – Известно, правда глаза режет! Виноват-с, не буду больше!

– Чай, скоро к нам объявится, – заметил кто-то, – Приехал, так сидеть не будет.

– А не слышал ты, Козлов, какие у них разговоры были? – спросил Задвижкин.

– Нет, собственно... А так, одним краем уха... Да што: все наш ротный жалится... Интригуют уж, говоря очень... Все по службе неприятности... Все ножку-де подставляют, где ж тут, грит, служить станешь... А только что, говорит, с моим народом надо ухо остро держать! Только из-под палки, грит, и слушают!

Солдаты внимательно слушали. В жизни первой роты происходило историческое, так сказать, событие: перемена командира. Как ни строг и ни бестолков был прежний ротный, но солдаты его знали. Его привычки, система наказаний, слабости, недостатки, все, что он любит и не любит, было известно. К новому же предстояло еще привыкать и на собственной шкуре тяжелым опытом доходить до познания: что такое новый командир и как можно с ним жить.

– Ну, а он, новый-то? – спросил Моська и тотчас же спохватился, испугавшись своего вопроса в присутствии взводного.

– Новый? – рассеянно процедил Козлов, обводя глазами присутствующих. – Новый ничего... Сидит, молчит... Молчит да думает... Думает, да вдруг и спросит: «Вы, грит, так думаете! Неужели?»

– Охо-хо-хо! – протянул Задвижкин. – А може, и впрямь сегодня придет, коли приехал... Пойду-ко я там посмотрю...

Рыльце у него было в пушку, и надо было кое-что уладить. Задвижкин встал и вышел из-под навеса, торопясь к каптенармусу¹³ сообщить новость в предупреждение могущих быть неприятностей. А неприятности могли произойти оттого, что у каптенармуса далеко не все было в порядке как в цейхгаузе¹⁴, так и в амбарах...

Как только он скрылся, Козлов вскочил на скамье и сказал:

– Ну, ребята, держись теперь! Съест!

– Бог не выдаст – свинья не съест.

– Ой, съест! – заговорил молодой тщедушный парень с быстрыми, испуганными глазами. – Ведь и энтот-то живодер! А тот, сказывают, прямо людоед!

– Ну, не каркай, ворона! Поживем – увидим, – сказал другой солдат. – А что новая метла чисто метет, да недолго живет – так и это верно. Попервоначалу сегда так: наедет, накричит,

¹² Пушкарь (жарг.) – обманщик, болтун, пустослов. В прямом значении: артиллерист.

¹³ Каптенармус – должностное лицо в армии, отвечающее за хранение имущества в ротном складе (кладовой).

¹⁴ Цейхгауз (цейхгауз) – воинский склад оружия, обмундирования, снаряжения и т. п.

нашумит. То неладно, другое нехорошо, а прошел месяц, надоест, пойдет по-прежнему... А и то сказать, чем наша рота остальных хуже? Так, придирика одна!..

Моська слушал все эти разговоры, и в нем рождалось уныние. Сердце говорило ему, что для него теперь настанет очень плохое житье. Он слышал много рассказов о том, как расправляется начальство с негодными солдатами, и знал, что бывали такие случаи, когда придирались к пустякам, судили и отправляли в дисциплинарный батальон.

«Хоть бы в конвойную команду отправили! – думал он. – Все легче... Нет тебе этого ученья да емнастики... Вольготно. Когда и трудно бывает, а все же лучше...» Козлов готовился привести еще какие-то соображения по поводу нового командира, как вдруг под навес прибежал, запыхавшись, фельдфебель – низенький бритый старик с жесткими и хитрыми глазами, которые обладали способностью видеть во все стороны даже тогда, когда он, по-видимому, смотрел вниз.

– Бросай чистку! Собирай винтовки и марш на ученье. Живо!

Солдаты зашевелились. Ротное ученье в такой ранний час. Дело ясно: их будут «представлять» новому начальству.

Все кинулись в палатки...

V

Яркое полуденное солнце немилосердно жжет и палит. Ни ветерка, ни облачка; огромное зеленое поле, где сотни раз выводили живых людей и, как лошадей в цирке, заставляли выделывать разные кунштюки¹⁵, пусто. Далеко, на другом берегу реки, густо порошей ивняком, синееет гряда леса, уходя в бесконечную даль. С другого края круглой зеленой площади белыми зубчатыми линиями раскинулись лагерь. Издали маленькие четырехугольные палатки кажутся карточными домиками, готовыми разлететься от легкого дуновения. Там и сям между ними зеленеют тощие тополя и акации. Везде пусто – в поле и небе... Все, кажется, спит, очарованное жарким, ослепительным светом.

В первом ряду маленьких белых палаток заметно движение... Мелькают, шевелясь, исчезающая и появляясь вновь, белые точки... Их все больше и больше, и вот, заслоня очертания палаток, около лагеря начинает извиваться маленькая белая змейка, сверкая длинными блестящими искрами... Слегка подаваясь то влево, то вправо, она растет, приближается... То тут, то там показываются красные точки околышей и погонов, штыки сверкают все гуще и гуще... Слышен далекий равномерный топот, в такт которому волнуется белая колонна. Еще несколько минут, и вы видите, что маленькая белая змейка превратилась в первую роту *** батальона, мерным, торопливым шагом выходящую в учебное поле «представляться» своему новому ротному командиру.

Отойдя от лагерей сажень на сто, рота остановилась. Раздалось одновременное бряцание, и штыки, сверкнув еще раз, опустились. Фельдфебель вышел вперед, молодежато крикнул, метнул глазами направо и налево и скомандовал:

– Р-ряды-ы-... стр-р-ройся!

Раз-два-три! Рота из четырехзвонной вытянулась в двухзвонную колонну.

– Р-ряды-ы-... стр-р-ройся!

Раз-два-три! Теперь шеренги слились в одну и вытянулись длинной прямой линией.

– Равняйся! Смирно!

На дороге, ведущей из лагерей к батальонной церкви, показалось облачко пыли... Пара вороных лошадей мчала легкую коляску с тремя офицерами. Перед фронтом коляска остановилась, и двое из них – батальонный командир, полковник, седой стройный старик, и прежний ротный, худощавый блондин, – с строгим и усталым видом быстро выскочили из коляски на землю.

Третий, казалось, был нарочно создан для того, чтобы его возили в экипажах. Он не сразу вылез, но, двигаясь осторожно и степенно – причем коляска чуть-чуть не опрокинулась, – поставил на подножку одну ногу, а другую на землю и слез. Затем так же степенно, по-солдатски повернулся всем корпусом и выпрямился.

Солдаты с удивлением глядели на его фигуру. Был он страшно толст, непомерно. Казалось, все в этом круглом шарообразном теле кричало о том, что тесен божий мир и негде повернуться. Трудно было сказать, где кончалась голова и начиналась шея: то и другое было красно и непомерно широко. Он был маленького роста, и поэтому ноги его, толстые, короткие обрубки, одетые в широченные шаровары, казались продолжением туловища.

Трудно было ожидать от такого субъекта поворотливости. Каково же было изумление солдат, когда толстяк быстро и легко вместе с полковником и бывшим ротным направился к фронту.

– Смирно! – прокричал фельдфебель, прикладывая руку к козырьку.

– Здорово, ребята! – сказал полковник.

¹⁵ Кунштюки (кунштюки) – разные проделки, фокусы, ловкие штуки.

– Здрав-жлам-вашскобродь!

– Это ваш новый ротный командир, – продолжал полковник. – Слушайтесь и любите его!

Он сказал что-то прежнему ротному, и они, простившись с толстяком, сели и покатали обратно. Толстяк помолчал немного, затем, вытянувшись и приподнявшись на носках, крикнул тонким бабьим голосом:

– З-здро, молодцы, первая рота!

– Здрав-жлам-вшбродь! – рявкнули «молодцы».

– Я ваш новый начальник! – продолжал толстяк. – Никаких послаблений от меня не ждите! Инструкцию исполнять неукоснительно! Словесность¹⁶ знать назубок. Нос не вешать. Будете хороши – и я буду хорош. Нячнуться с вами я не стану. Мои приказания святы! Издохни, да сделай!

И он помчался вдоль фронта, тяжело дыша, обтирая мокрое лицо батистовым платком и внимательно всматриваясь в лица солдат. Те почтительно провожали глазами начальство, и в лицах их можно было прочесть одно – оторопь!

Моська стоял четвертым с правого фланга, и дыхание у него спирало в груди. Он не мог оторвать глаз от этого красного, белобрысого, толстого человека с белыми ресницами и голубыми глазами, и, видя, как он подвигается к нему все ближе и ближе, Моська испытывал точно такое же чувство, какое испытывает человек при виде жабы. Теперь он мог хорошо его разглядеть. Маленький подбородок, утонувший в толстых складках шеи, придавал его лицу смешное, бабье выражение. Но в низких желтоватых бровях и далеко ушедших внутрь голубых глазках таилось что-то бесконечно упрямое, высокомерное и жестокое. Он подошел к Моське и быстро мимоходом впился острым злорадным взглядом в испуганное лицо солдата.

«Убивец!» – вдруг подумал Моська, и острый холод пронизал его с ног до головы. И, провожая взглядом широкий затылок ротного, он испытывал какое-то смешанное чувство удивления и боязливой ненависти при мысли, что этот грузный, короткий и широкий офицер хладнокровно убивал себе подобных. Но сейчас же это чувство прошло, так как Моська вспомнил, что теперь надо быть начеку и не сделать какого-нибудь промаха. И он еще крепче сжал винтовку в руке.

Пробежав фронт, ротный несколькими быстрыми прыжками отскочил задом от фронта и выкрикнул:

– Слуша-ай! С колена, по колонне – восемьсо-от па-альба... р-ротою!

Шеренга роты разом упала на одно колено и оцетинилась острым гребнем штыков. Торопливо защелкали затворы.

– Р-рота!

Приклады у плеча...

– Пли!

Треск курков.

Толстяк подумал несколько мгновений и вдруг пошел сзади шеренги, внимательно осматривая постановку ног. Дойдя до Моськи, он остановился – и сердце солдата упало.

– Фельдфебель! – услышал сзади себя Моська визгливый тенорок ротного. – Дай-ка этому псу по шее и научи его ставить ноги!

Секунда-другая – и у Моськи в глазах земля заходила ходуном и все завертелось. Опомившись от удара, он слышал, как толстяк сказал фельдфебелю:

– На три дневательства не в очередь и неделю без отпуска!

«Новый» начинал, по-видимому, оживать: то тут, то там слышался его визгливый крик, и его нога в широком лакированном сапоге то и дело толкала солдат, то и дело поправляя ноги и руки. Наконец он скомандовал:

¹⁶ Словесность – здесь: воинские уставы в дореволюционной армии.

– Встать. Солдаты встали.

– Плохо! Вижу сразу, что все плохо! – кричал ротный. – Но я вас буду учить! Я многих, многих учил!

Началось бесконечное ротное ученье – с маршировками, с беглым шагом, поворотами и построениями, в течение которого ни на минуту не смолкал голос, бранчивый и визгливый, толстяка. Глаза его моментально обегали роту и вспыхивали, когда он замечал оплошность или ошибку.

Через два часа солдаты, разбитые и усталые, шли к палаткам. В воздухе неслась бессмысленная, трактирно-солдатская песня:

Крутится, вертится шар голубой, Крутится, вертится над головой, Крутится, вертится, хочет упасть...

VI

Для первой роты наступили тяжелые времена. Все подтянулось. Ничто не ускользало от внимания и зоркого взгляда маленьких голубых глаз нового командира. Он проявил поистине какую-то чудовищную неутомимость и, раз решив, очевидно, поставить роту на «образцовую» ногу, не давал никому покоя. Он лично осматривал одеяла, матрацы, мундиры, брюки, галстуки, пуговицы, пояса, винтовки, сумки – все, что только имело отношение к солдату и к чему имел отношение солдат. Ночью он являлся неожиданно, когда все спали, и, выслушав рапорт дежурного по роте, молча обходил палатки, прислушиваясь к дыханию спящих, стараясь определить, спит ли человек или только притворяется.

На ученье он выходил из себя, если случайно вздрагивал штык у кого-нибудь в рядах... Он даже похудел и побледнел, если только можно назвать худобой увеличившееся количество складок на шее и менее красный цвет лица. В течение какой-нибудь недели он устроил два обыска в солдатских сундуках, ища запрещенных книг и прокламаций, «потому что, – как выразился он однажды, – солдат насчет этого не дурак...». В гимнастике он требовал безукоризненной отчетливости, и солдат, перескочивший, например, яму так, что одна нога его была впереди другой на два вершка, – должен был прыгать до тех пор, пока не делал прыжок удовлетворительно или не сваливался от изнеможения.

Зайдя однажды на кухню, он приказал посадить на трое суток под арест артельщика и повара за то только, что те вздумали сварить вместо надоевшей капусты макароны.

– Это что такое? – визжал он. – Что за Италия? Зачем это? Макароны? Баловство! Щи и каша – каша и щи! Вот солдатская еда. Если вы, сукины дети, еще купите макарон, я вас самих заставлю сожрать весь котел.

Каждый день кто-нибудь сидел в карцере. Сажал он за всякие пустяки: за недостаточно молодецкое отдание чести, оторванную пуговицу, плохо смазанную винтовку. Все ходили на цыпочках. Даже развеселый Козлов приуныл после того, как постоял под ранцем шесть часов и едва не слег после этого в лазарет.

Фамилия нового ротного была Миллер. Тупой, злопамятный и ограниченный, он ненавидел солдат, как своих личных врагов, и не без основания: редко кто из рядовых, увидев где-либо между палатками широкий, собачий затылок Миллера, не посылал ему проклятие. В пьяном виде он бывал очень чувствителен; тогда он собирал солдат вокруг себя и, засучив руки в карманы, икал и, нелепо двигая бровями, пояснял им, что он их «отец» и прочее. Но горе тому, кто во время этих крокодиловых слез не умел изобразить в лице достаточного внимания к словам немца: слащаво-нахальное лицо Миллера мгновенно принимало жесткий и угрюмый вид, глазки суживались, и «отец» уже совершенно другим тоном, с угрозами и ругательствами набрасывался на тех, кто, по его мнению, недостаточно близко принимал к сердцу его слова.

– Тебе, Федоров, я вижу, трудно меня слушать, – начинал он в таких случаях. – Так чего же ты, братец, здесь стоишь? Тебе не нравится, да? Не нравится, я вижу, не нравится, что я говорю? Ты, может быть, лучше на сходку пошел бы, к разным социалам? А? Ну что же, ступай и ступай, братец!.. Насильно мил не будешь!.. Ах ты, бродяга! – неожиданно накидывался он на оторопевшего Федорова. – Да ты знаешь, кто я? Как ты смеешь, мерзавец? – и взгляд, полный ненависти, казалось, хотел пробить насквозь и пригвоздить к земле ни в чем не повинного Федорова.

– Ну и слон, братцы! – сказал однажды Козлов в своей компании, играя «в три листика». – Этакого слона ни в сказке сказать, ни пером описать. Хоть западню на него ставь...

– Кто это – слон? – спросил партнер, убивая козырного валета.

– А он – Миллер, едят его мухи! Иду я давеча – глядь, он катит по дорожке, все место занял – не пройдешь... Чисто слон...

Кличка Слон так и осталась за Миллером. Слово, пущенное случайно за карточной игрой, крепко пристало к новому ротному и даже среди офицеров, узнавших, как зовут Миллера солдаты, получило право гражданства.

Легко представить, во что обратилась теперь жизнь для Моськи. Два раза фельдфебель докладывал Миллеру, что Моська – никуда не годный солдат, и два раза Слон категорически, с пеной у рта, заявлял, что плохих солдат у него быть не должно.

– Бей! Плох – бей! Под ранец! В карцер! Все, что хочешь! Или сгони в могилу, или сделай солдата!

Мелкое солдатское начальство: ефрейтора, унтера, фельдфебель, – подгоняемые сверху, окончательно осточертели и походя срывали злобу на более робких и забитых. Особенно невыносимой жизнь сделалась для Моськи.

Парень похудел, осунулся, и в глазах его, больших и недоумевающих, появилось какое-то новое, небывалое выражение затаенной тоски и безграничного отчаяния. Как затравленный зверь, вздрагивая при виде офицерских погон, бродил он по казарме, грязный, оборванный и жалкий, сторонясь товарищей и неохотно вступая в разговоры... Только когда осень позолотила листву деревьев и желтое жнивье ошетинилось в полях, взгляд его как будто прояснился и стал мягче: парень вспомнил дом, домашние работы, уборку хлеба и родную ниву, далекую от его холодной, мрачной казармы...

VII

Батальонная канцелярия помещалась возле офицерского собрания, на большой лужайке, затейливо украшенной живой изгородью и цветочными клумбами. Смеркалось. В окнах дежурной комнаты вспыхнул огонь и осветил два окна. Это Моська, назначенный сегодня вестовым к дежурному по батальону, ротному командиру первой роты капитану Миллеру, зажег огонь.

Миллер еще не приходил. Моська, свободный пока от несения служебных обязанностей, сидел у большого некрашеного стола и перелистывал тоненькую книжку, на обложке которой был нарисован огнедышащий змей с двумя целыми головами и одной отрубленной. Возле змея стоял молодой человек в латах и шлеме и замахивался мечом на другую голову. В темной офицерской комнате часы торопливо и бойко постукивали, как бы разговаривая сами с собой... В окно доносились смешанные звуки лагерной жизни: игра на гармонии, отрывки песни, брань, стук шагов.

Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Слон, заняв корпусом всю ширину дверей. Он был пьян и пальцами слегка придерживался за косяк. Моська вскочил и вытянулся. Миллер обвел взглядом помещение и грузными, короткими шагами направился в дежурную комнату.

– Огня! – бросил он на ходу.

Моська кинулся со всех ног к лампе, от волнения руки его дрожали, и спички тухли одна за другой. Наконец вспыхнул огонь, и тусклый свет озарил дешевые обои, письменный стол и кровать в углу. На стол стояли пустые пивные бутылки, на тарелке лежал сыр и кусок хлеба. Слон с минуту постоял посередине комнаты, потом засунул руку в карман и, вытащив скомканную десятирублевку, бросил ее на стол.

– Вестовой! – прохрипел он. – Живо за коньяком! Марка «Н» с черной звездочкой – бутылку! Ты, песья душа, знаешь, что такое звезда? Звезда... звездочка... трум, трум... трум... Ну, чего стал? Живо, марш!

Моська бегом бросился в офицерский буфет и через пять-шесть минут вернулся с бутылкой коньяку и большой граненой рюмкой. Поставив принесенное на стол, он отошел к порогу и, вытянувшись, замер.

Слон сел на кровать у стола и согнулся, подперев голову руками. Сигара, которую он сосал, постепенно выползла изо рта и с легким стуком упала на пол. Слон вздрогнул, посмотрел на Моську тупым соображающим взглядом и потянулся.

– Налью-ка я себе... – бормотал он, – а тебе, вестовой, тебе не налью... Я – офицер, ты же есть холуй... А потому трескай себе казенную водку, жри... А я буду пить коньяк! – Он медленно налил рюмку и залпом ее опорожнил. – Ты, – продолжал он, обтирая усы и грузно пыхтя, – в сущности не должен на меня смотреть... Это р-роняет... пре...престиж власти... Этого не полагается... Ну, все равно... Я буду пить, а ты облизывайся...

«Убивец!» – думал Моська, глядя на красные, пухлые руки Слона с оцепенением, похожим на чувство, с каким жертва смотрит на своего палача.

– Пью я, дорогой мой солдат... – сказал Миллер, облокотившись на стол и положив голову на руки. – Пью... Пьян же отнюдь не бываю... Отнюдь! Заметь это... Почему? Ответ ясен: потому что устаю, и мне добрая бутылочка всегда полезна... А как с вами, собаками, не устать? Сильно устаю... Как тебя зовут?

– Мосей Щеглов, вашбродь! – едва слышно произнес Моська.

– Мосей... Щег... Щег... А! а!.. Это ты, дорогой, значит, так отличаешься? Это ты-то никуда не годная тварь? Н-ну-ну! А ведь я вас учить приехал? А? Я вас выучу!

Слон засмеялся и лукаво погрозил Моське пальцем.

– Но без тонкостей! Эти разные шуры-муры солдатские, нюансы и амуры – побоку! К черту! Учить – прямо, честно, по-солдатски! В ус и в рыло! Чего дрожишь? Не бойся! А ты думал, что тут тебе тятя с мамой блины пекли? Как же! Держи карман шире! В солдаты пошел – пропал! Нет больше никакого Мосея, а есть рядовой! И как рядовой ты об-язан исполнять все... Быстро, точно и... и б-беспрекословно! Скажу – убей отца! Убивай моментально,дохнуть не дай! Скажу – высеки мать! Хлещи нещадно! В рожу тебе плюну – разотри и с-смотри козырем, женихом, конфеткой! Захочу – сапоги мои целовать будешь! Вот что! Ха-ха-ха-ха-ха!..

Мосей вздрогнул. Слон хохотал неистово, сладострастно, и толстые багровые жилы вздулись на его лбу... Наконец, задыхаясь, он хлебнул еще рюмку и продолжал:

– Вас, скотов, берут на службу для чего, как бы ты думал? Ну – родина там... что ли... отечество... для защиты, а? Царь, мол, бог... Те-те-те! Для послушания вас берут, вот что! И потому существует дисциплина Без дисциплины ты есть что? Мужик. А нам мужика не надо, не-ет! Совсем н-не надо!.. Пусть и духу в мужицкого не останется! Чтоб и про село свое он был, где родился. Тебя посылают, тебе приказывают – и... баста! А куда, зачем – тебе какое дело! Пошлют на японца – сдыхай в Маньчжурии... Пошлют мужиков бить – режь, грабь, жги! Тебе какое дело? Я в ответе, не ты!

Слон выпил еще.

– Я знаю, вы народ хитрый, вы, собаки, дошлые! Я знаю!.. Я все знаю! Знаю, куда у вас ходят по вечерам! Знаю, какие книжки вы читаете! И прокламации... Под расстрел хотите? Можно... Вы думаете, эти дураки ваши, деревенские-то, добьются чего-нибудь? Шиш с маслом! 3-земли и воли? А штык в спину? Политической свободы, ска-а-жите!.. А пятьсот горячих? Демократической республики! А кулак в зубы? Ниче-е-го вам не надо и... незачем!.. Ведь вами, как скотиной, надо пользоваться! Вези, пока не сдох!.. Мы! – Он ударил себя кулаком в грудь. – Мы благородны! Мы люди! Наши деды на ваших дедах верхом ездили! Сено возили!.. Мы сильны и... б-благородны! А вы хамы!

...Я вас буду учить! Я буду палкой загонять вам в голову словесность... А стрельбе научу без пр-ромаха! Десять раз у меня окривеешь, и будешь попадать! «Нет у тебя Бози инии, разве мене...»¹⁷ Помни эту заповедь,, а то я спущу тебе штаны и напомню по-своему!.. Ведь ты хам, с тобой все можно!.. Запорю, засужу, уб-бую – и ничего не будет! Ведь ты хам, хам? Да? Говори! Хам?

Они стояли лицом к лицу: один – озверевший от вина, злобы и скуки: другой – белый как мел... Губы у Моськи дрожали, и сердце сжималось от невыносимо тоскливого и отвратительного чувства... Уйти бы, уйти, уйти!

– Ну... ну, говори... Хам ты или нет?

Рука Миллера уже протягивалась в воздухе, ища, за что схватить Моську. Исступление овладевало им...

– Никак нет, вашбродь! – вдруг сказал Моська быстро и отчетливо, смотря прямо перед собой...

Наступило молчание... С минуту Слон стоял перед Моськой, вытаращив круглые, пьяные глаза и смешно двигая бровями. Он старался уловить смысл неожиданного для него солдатского ответа...

– Что – «никак нет»? – переспросил он, садясь снова на кровать, причем она оглушительно затрещала. – Что – «никак нет»? – закричал он, снова приходя в бешенство. – Так я вру? Так ты кто? Чел-ловек, «чаэк», м...мужик, крестьянин? А не хам ли ты, подлая, рабья душа? Так я... что же, по-твоему, делаю, вру? А? вру?..

¹⁷ «Нет у тебя Бози инии, разве мене...» (церковнослав.) – Нет у тебя Бога иного, кроме меня.

Тоскливое, нудное чувство вдруг сразу прошло у Моськи, точно его совсем и не было... Комната поплыла перед его глазами, и вдруг стало как-то странно легко и весело... Он внутренне усмехнулся и сказал быстрым, громким шепотом:

– Вы... людей убиваете, вашбродь... Вот что вы делаете!

Миллер откинулся назад всем корпусом, и его широкий, плоский затылок глухо стукнулся о деревянную стену. Через мгновение он расхохотался звонким переливчатым смехом:

– Ай-яй-яй! А-ха-ха-ха-ха-ха! Ай да вестовой! Ну и мужик! Ну и глуп, глуп, ну и глуп же ты, глуп, глуп ужасно! Да ведь ты совсем, совсем-ем дурак... Набитый дурак! Ты это понимаешь? Или не совсем? Отмочи-и-ил! Так что? Людей убиваю? А почему же не убивать, а? Зачем им жить, ну? Зачем?.. Скажи!

Слон нагнулся на кровати и впился в лицо Моськи маленькими, пьяными, тусклыми глазками.

– Подлец! Мерзавец! Идиот! – вдруг заорал он, топая ногами. – Да как ты... Да я... Да смеешь ты как?! Убью, зарежу! Задушю! И в ответе не буду!

Моська стоял неподвижно и грустно смотрел в окно... Ему совсем не было страшно, только хотелось скорей и во что бы то ни стало кончить эту безобразную, унижительную сцену...

Наступило молчание... Стенные часы звонко пробили девять... Лампа коптила, бросая гигантскую уродливую тень на стену от круглой, огромной головы Слона,, На крыльце послышались шаги. Миллер поднял голову.

– Я с тобой разделаюсь, – сказал он, посмотрев в лицо вестовому взглядом, полным холодной угрюмой злобы. – Будешь доволен... Ступай, кто там?..

Моська вышел в переднюю.

VIII

В передней, робко толпясь у дверей, стояло пятеро молодых солдат четвертой роты. Впереди других стоял худенький юноша солдат, держа в руках большую деревянную чашку.

– Вы чего, ребята? – спросил Моська и прибав шепотом: – Пьян дежурный-то!.. Злой, кричит... топает... Вам чего?

– Ну, Моська, не собаки же мы, – сказал один солдат. – Ты посмотри, как кашицу варят, с червями... Что ж, с голоду помирать, што ль? Сухарями-то сыт не будешь. Ступай доложи дежурному: так и пришли, мол, из четвертой роты, на кашу жалатся... Пища, мол, негодная совсем...

В дверях неожиданно появился Миллер, угрюмо смотревший на группу солдат.

– Вы что? – отрывисто спросил он.

– Позвольте доложить вашему благородию, – ступил солдат с чашкой, – то есть никак не возможно есть эту кашицу... С червем, вашбродь!.. Так что хотели беспокоить ваше благородие... По нужде!..

– Покажи, – сказал Слон и, взяв у солдата чашку стал рассматривать ее содержимое при свете лампы, – Гм, черви... Где же черви? Я не вижу...

– Вот, извольте посмотреть, вашбродь, – сказал! третий солдат, подавая обрывок бумажки, на которой! лежали два маленьких мокрых комочка. – Они самы...

Миллер неожиданно размахнулся и швырнул чашку! из всей силы в лицо говорившему. От неожиданности тот откинулся назад и ударился головой о косяк двери. Горячая серая жидкость потекла по его лицу, мундиру и брюкам, а на губах показалась кровь...

– Да вы что, собаки! Сговорились, что ли?! – заревел капитан. – Бунтовать? Жаловаться? Черви? Сами вы чер-рви! Я вас!..

Он отскочил на два шага, быстро отстегнул кобуру и выхватив черный блестящий револьвер, в упор направил его в грудь первому, кто стоял ближе к нему. От неожиданности и изумления никто не успел даже пошевелиться, поднять руку. Сухо щелкнул взводимый курок...

Вдруг с быстротою молнии Моська кинулся к Миллеру сзади и, схватив капитана за плечи, сильно ударил его ногой под коленки... Слон потерял равновесие и грузно брякнулся спиной о пол. Комната заходила ходуном от сотрясения... Так же быстро одной рукой подхватил Моська упавший револьвер, а другой оборвал тоненькую шашку капитана... Миг – и она со звоном разлетелась в куски, скомканная дюжей рукой Моськи. Миллер, придавленный тяжелым солдатским коленом у самого горла, беспомощно хрипел и метался, хватая руками воздух...

– Будет, барин, над людьми измываться!.. – высоким, не своим голосом крикнул Моська. – Люди мы, не псы, не хамы! Что ты своим благородством-то гордишься, убивец! Убивец ведь ты! Ведь ты людей по миру пускал! Ты за что хотел человека стрелять? Ах ты, пес, негодная ты тварюга! Ты мне чего сейчас говорил? Плюну, мол, тебе в рожу, а? А ты, мол, разотри да смейся, а? Так на же тебе! – Он нагнулся над посиневшим от страха и злобы Миллером и звучно плюнул ему в лицо. – Разотри! – сказал он, вставая. – Вот и будешь ты... конфетка!..

Слон медленно поднялся... Глаза его блуждали, а губы беззвучно шевелились... Моська стоял перед ним, сжимая кулаки, и смотрел на этого жалкого пьяного человека-зверя... Потом подумал и сказал:

– Ничего, говоришь, не добьемся? Врешь! Всего добьемся!

Через два месяца Моська был присужден за насилие над офицером и оскорбление последнего при исполнении служебных обязанностей в бессрочную каторгу. Но первая рота помнит Моську.